

Владимир Фролов
ЧЕРНОВИЦКАЯ ВЕСНА

*О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной.*

К. Н. Батюшков

Лев Толстой помнил, как его пеленали. Он так и не смог забыть ощущение беспомощности, которое при этом испытывал. Вообще-то, дети обычно начинают закреплять в памяти окружающий мир годам к четырем. Я же помню себя с трех лет.

Хорошо помню, как мы с бабушкой ехали поездом по бесконечным степным просторам. Тяжелое солнце медленно уходило к горизонту. Крепчал терпкий ветер, пропитанный запахом полыни. Исчезавший уже привычным монотонный ландшафт, и степь стала выглядеть так, словно огненный смерч пронесся здесь, уничтожая все на своем пути. Всюду виднелись разбитые, завалившиеся на бок машины, остовы сожженных танков, развороченные пушки. Меня особенно поразило застрявшее в земле крыло самолета с большой красной звездой.

– Дуга Курская... Ох, народу побило... Мертвый на мертвом, – вздохнула бабушка. – Кто же такое выдержит? Какой народ?

Бабушка просто размышляла вслух. Я ведь не мог понять тогда, что она имеет в виду. Но я уже знал, что такое война. Знал, что на войне убили моего папу.

В переполненной теплушке смрад и полумрак. Мы сидим у раскрытых дверей. Здесь легче дышится.

Вдруг рядом возникает рыхлый человек с неопрятными, тронутыми сединой волосами. Выцветший френч сидит на нем плотно, как кожура на банане. Но больше всего меня поражает его лицо. Один глаз косит и смотрит в сторону. Второй неподвижно глядит прямо перед собой, не мигая. Он стоит так близко от меня, что я чувствую запах перегара.

– Сучара жидовская, – кричит он кому-то в углу, захлебываясь словами. – Отсиделся, гад, в Ташкенте... Братан Васька... Мы с ним в окопе одном... Котелок с кашей на двоих... Тут как рванет... Башку Васеньке напрочь снесло... Лежит головка брательника с ложкой в зубах. А еги жидяры...

Мужчина, сидевший в углу, встал, оказавшись неожиданно высокого роста, шагнул вперед – и я услышал короткий сухой звук. Человек во френче упал.

– Бей жиды! – раздался чей-то вопль, и началась свалка.

Я испугался и заплакал. Бабушка взяла меня на руки. Что было дальше – стерлось из моей памяти. Осталось только ощущение, что произошло что-то нехорошее и злое.

* Первая часть триптиха «Калейдоскоп памяти». Журнальный вариант.

Моя бабушка умерла в Израиле в 1968 году и похоронена на холонском кладбище. Тогда я и узнал финал этой истории. После похорон ко мне подошел седой человек с печальными глазами.

– Вы, конечно, Володя? – спросил он. И, не дожидаясь ответа, представился: – Семен Аронович Вайнер. Это ведь вы ехали с бабушкой в поезде из Актюбинска на Украину в 1945 году?

– Ну да. Только я был еще совсем маленьким.

– Вы, конечно, не можете этого помнить, – продолжал он, – но ваша бабушка Мария Иосифовна спасла мне жизнь.

– Кое-что помню, – сказал я. – Помню, как вы ударили кого-то. А вот что было дальше – начисто забыл.

– Они кинулись меня избивать, хотели вышвырнуть из вагона. И тогда ваша бабушка покрыла их таким матом, что они обалдели.

– Она долго жила в Одессе, – сказал я.

– Тогда понятно, – усмехнулся Семен Аронович. – Но спасло меня не ее знание ненормативной лексики. И даже не то, что она держала вас на руках. Их поразило несоответствие. Круглое лицо пожилой русской женщины. Голубые глаза. Светлые волосы. И вдруг – такой лексикон. Они бы никогда не поверили, что она – еврейка. «Ну, бабка, ты даешь», – сказал кто-то, и все облегченно засмеялись. Им расхотелось убивать. Смех и убийство – вещи несовместимые.

Семен Аронович попрощался и ушел прямой и спокойный.

* * *

Из эвакуации мы с бабушкой возвращались не в Самару, где жили до войны, а в Черновцы – исторический центр Буковины. Там мать и отчим получили работу. Мой отец – военный врач – был убит в конце сорок первого. Фугасная бомба угодила в полевой госпиталь. Погибли все – и раненые, и медицинский персонал.

Бабушка рассказывала, что у отца была горячая кровь и доброе сердце. Он обожал женщин, что приводило мою мать в отчаяние. Отец ее любил и искренне раскаивался в прегрешениях, но при каждом удобном случае повторял их снова без малейшего зазрения совести. Вместе с тем был он великодушен, правдив и предан своим друзьям. Эмоциональная горячность сочеталась в нем с полным равнодушием к материальным благам.

Моя мать – тоже врач – была эвакуирована в казахский город Актюбинск вместе с больницей, в которой работала. Там она в самом конце войны познакомилась с польским евреем и вышла за него замуж.

Мой отчим – выпускник Варшавского университета, магистр философии и права – отлично разбирался не только в философии, но и в политике. Гитлера считал исчадием ада, а Сталина – величайшим злодеем в истории. Убегая от нацистов, он оказался в сталинской империи. Поскольку хрен редьки не слаще, то по его разумению, чтобы уцелеть, нужно было превратиться в хамелеона, что он и сделал. Женившись в Актюбинске на моей матери, он сразу после войны потихоньку перебрался в Черновцы, где устроился на керамический завод начальником планового отдела – типично еврейская должность в те времена.

В 1946 году, когда бывшие польские граждане косяком репатриировались в Польшу, отчим не осмелился подать документы в ОВИР, опасаясь, что это будет расценено как нелояльность в отношении режима. Лишь в 1962 году наша семья получила разрешение на выезд в Варшаву по личной просьбе президента польской академии наук Тадеуша Катарбинского, не забывшего моего отчима – одного из лучших своих студентов.

Отчим – человек холодный и замкнутый – отличался безупречной вежливостью и галантностью – качествами, которые обеспечили поработанной Польше сочувствие всего мира. Мы не были близки, но я всегда помнил, что когда однажды попал в беду, то он протянул мне руку помощи легко и естественно.

В детстве он иногда рассказывал мне похожие на притчи короткие истории. Вот одна из них: «В зеркальный зал забежала злая собака и увидела сотни ощерившихся злых собак. Потом забежала добрая собака и поняла, что мир населяют добрые собаки. Отсюда мораль: ты такой, каким ты видишь мир».

Никаких разговоров о политике он не вел, но его замечания поражали остротой ума и свидетельствовали о привычке к логическому мышлению.

От него, например, я узнал, что орудие, карающее зло, не всегда является благом.

Как-то раз, увидев, что я читаю книгу по астрономии, он сказал:

– Не забивай свои мозги ерундой. Вселенная бесконечна, а что не имеет конца, не имеет и смысла. Так зачем тратить время на бессмысленные вещи?

А однажды я услышал от него, что развитие цивилизации опережает развитие культуры и ведет народы к одичанию и гибели. Эта фраза поразила меня, и я тут же спросил:

– А что такое цивилизация?

Он коротко ответил:

– Технический прогресс.

И тогда я задал вопрос, который интересует каждого:

– Существует ли Бог?

Он пожал плечами и серьезно сказал:

– Если и существует, то Он вне времени и пространства, а значит, для нас непостижим.

Я тогда не понял его. Не уверен, что понимаю и сейчас.

* * *

Черновцы называли еврейским городом.

Даже теперь, много лет спустя, мне требуется всего лишь незначительное усилие памяти, чтобы вновь увидеть перед собой его дома и улицы, ощутить их странное обаяние и теплоту нагретого за день асфальта.

С тех пор где я только не побывал, но всюду меня, как фата-моргана, сопровождал зыбкий и, несомненно, давно изменившейся облик этого города.

Когда же развалилась империя и появилась, наконец, возможность съездить в Черновцы, то я ею не воспользовался. Бродский был прав: на место первой любви не возвращаются. А моя первая любовь все еще ходит по черновицким улицам. При мысли, что я могу встретить ту, которая когда-то была для меня самым прекрасным существом на свете, в облике ковыляющей куда-то старушки, мной овладевала черная меланхолия.

Я ведь с особой отчетливостью, так, словно это было вчера, помню зимний вечер, бесшумно падающий снег и ее приблизившееся странно побледневшее лицо...

К тому же евреев в Черновцах почти не осталось, а вместе с ними исчез и неповторимый, присущий только этому городу колорит – тот самый «особенный еврейско-русский воздух», о котором с такой щемящей ностальгией писал когда-то Довид Кнут.

Евреи, – говорил Заратустра, – маленький народ, но в каждом конкретном месте их много. По отношению к Черновцам это верно. Евреи не только жили в этом городе, начиная с XIV века, но иногда даже составляли в нем большинство.

Во времена помрачения духа – а их было великое множество – убийственные бури обрушивались и на общину черновицких евреев. Их лишали гражданских прав, изгоняли, грабили, насильственно крестили, обвиняли в отравлении колодцев, в ритуальных убийствах.

Но чем сильнее теснила евреев ненависть, тем сплоченнее и сердечнее становилась их семейная и духовная жизнь. Как дерево за землю, держались они за свой город.

Они основывали здесь промышленные предприятия и банки, открывали артели и мастерские, преподавали в школах и в университете, спонсировали культурные мероприятия. И прекрасно уживались с другими этническими группами, отношения с которыми строились на основе взаимного уважения.

К началу самой невероятной и истребительной из всех войн, преобразившей мир и уничтожившей треть еврейского народа, в Черновцах проживало около пятидесяти тысяч евреев.

В июне 1940 года Советский Союз аннексировал Бессарабию и Буковину. Начались аресты. Большинство еврейских культурных и общественных учреждений были закрыты. Но все это оказались лишь цветики. Трагические события развивались стремительно в то ужасное время. Уже через год – 30 июня 1941 года – Красная армия оставила город, и его заняли румынские и немецкие войска. Вся Бессарабия и Буковина с Черновцами были переданы Гитлером Румынии – верной союзнице Третьего рейха.

Конечно, Гитлер был главным игроком в кровавой мировой драме, но не следует недооценивать и роль его верного вассала, маршала и кондуктэтора (румынский аналог фюрера) Румынии Иона Антонеску.

Каждая диктатура выражает какую-либо идею. Но любая идея по форме и содержанию уподобляется тому человеку, который ее осуществляет. И если фанатичный и импульсивный Гитлер был Саванаролой расовой теории, то сухой и сдержанный румынский диктатор являлся ее расчетливым прорабом.

Антонеску гордился своей арийской внешностью. Высокий рост, суровый лоб, классической чеканки профиль, властный изгиб тонких, словно резцом вырезанных губ. Похожий на местечкового еврея Гитлер почувствовал нечто вроде зависти, когда встретился с ним впервые, что, впрочем, не помешало глубокой симпатии, которую фюрер до конца испытывал к своему румынскому союзнику.

Румыны, как известно, считают себя потомками римлян на том основании, что в первом веке нашей эры Дакия – так тогда называлась территория нынешней Румынии – была завоевана легионами Марка Ульпия Траяна, ставшего впоследствии императором. Его легионеры получили в награду завоеванные земли и постепенно смешались с местными жителями. Поэтому Траян и сегодня одно из самых популярных в Румынии имен. Римская историография считала Траяна образцом полководца и государственного деятеля. Всех последующих императоров римский сенат напутствовал словами: «*Felicio Augusti, melior Traiani*» (будь счастливее Августа и лучше Траяна).

Антонеску видел себя в мечтах румынским Траяном и стремился к созданию великой Румынии, безупречной в расовом отношении.

«Я вернул нам Бессарабию и Трансильванию, но я ничего не достигну, если не очищу румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу народу – такова моя высшая цель». Это свое заявление диктатор превратил в руководство к действию.

Кондукэтор даже не обсуждал с Гитлером еврейский вопрос. В этом не было необходимости. Он лишь переслал фюреру утвержденный им план поэтапной ликвидации евреев по всей Румынии.

Первыми «пошли под топор» евреи Бессарабии. В июле – августе 1941 года румынский «специальный эшелон» уничтожил, правда, с помощью подразделений вермахта, свыше 150 тысяч евреев.

Это тогда Геббельс записал в дневнике: «Сегодня фюрер сказал: "Что касается еврейской проблемы, то такой человек, как Антонеску, поступает гораздо решительнее, чем это делали мы до сих пор"».

Неофиты, как известно, часто превосходят в рвении своих учителей.

Впрочем, ненависть Антонеску к евреям труднообъяснима. В 1925 году, будучи военным атташе Румынии в Париже, он женился на французской еврейке и прожил с ней в любви и согласии восемь лет. В то время он вряд ли был юдофобом.

6 августа 1941 года кондукэтор был награжден Рыцарским железным крестом, который Гитлер лично прикрепил к его мундиру. После этого Антонеску и взялся за евреев.

10 октября 1941 года он отдал устный приказ о депортации еврейского населения Черновцов в концентрационные лагеря, поспешно созданные в Транснистрии. Уже 12 октября, в праздник Суккот, туда была отправлена первая партия из шести тысяч евреев, среди которых выделялась большая группа садогорских хасидов во главе с цадилом Аароном бен Менахемом Нахумом. Они прошли по городу в скорбном молчании, неся перед собой свитки Торы.

Почти никто из них не остался в живых. Румынские власти приказали в течение целого месяца перебрасывать этих обреченных людей с места на место, чтобы большинство из них остались на дороге

смерти. Тех, кто не могли идти, охранники тут же пристреливали. Немногие добрались до Транснистрии, но и те вскоре умерли, не выдержав нечеловеческих условий.

С октября по ноябрь 1941 года из Черновиц были депортированы 28.390 евреев. Почти все они погибли.

Около двадцати тысяч евреев все еще оставались в городе и уже ни на что не надеялись, как вдруг произошло чудо. Депортации прекратились. Все они получили право на жизнь благодаря усилиям черновицкого мэра Траяна Поповича.

Он жил в доме номер 6 на улице Заньковецкой, по которой я проходил десятки раз. Но я ничего не знал тогда об этом человеке. В те времена на этом доме не было, да и не могло быть мемориальной доски. Она появилась лишь в 2008 году...

По-видимому, ничего не знал о деяниях Траяна Поповича и Стивен Спилберг. Если бы знал, то не исключено, что снял бы фильм именно о нем, а не о Шиндлере. Оскар Шиндлер, снискавший всемирную славу благодаря фильму Спилберга, спас 1400 евреев, за что ему и честь, и хвала.

Но ведь Траяну Поповичу обязаны жизнью двадцать тысяч человек, а о нем мало кто знает. У истории просто не хватает времени, чтобы воздать каждому по справедливости.

Нельзя сказать, чтобы совсем уж был забыт «румынский Шиндлер». Он включен в список праведников мира сего. Его деяния увековечены в иерусалимском музее Яд ва-Шем. Памятник ему возвышается в Тель-Авиве.

Тем не менее его имя почти не известно на Западе. Да и в самой Румынии о нем предпочитают не вспоминать.

Траян Попович родился в 1892 году в небольшом румынском селе на Буковине, в семье мелкого ремесленника. Дела шли неплохо, и семья переселилась в Черновцы, где жила в достатке. Попович закончил сначала гимназию, а затем факультет права Черновицкого университета. С началом Первой мировой войны он добровольцем вступил в румынскую армию, где одно время служил под командованием капитана Иона Антонеску. Будущий диктатор по достоинству оценил и ровный спокойный характер Поповича, и его моральную силу, которая выше политической, ибо обращена к душе человека.

Он не забыл о нем, и когда Румыния вновь обрела Буковину, предложил Поповичу должность мэра Черновиц. После некоторого колебания – Попович отнюдь не рвался служить фашистскому режиму – он согласился.

«Когда зло сгущается до предела, должен ведь кто-то творить добро, иначе жизнь станет совсем невыносимой», – сказал он одному из друзей.

Во все времена будут существовать люди с неукротимой душой, которые не позволят запугать себя руганью и угрозами и останутся непоколебимыми в своих убеждениях. Услышав призыв своей совести, они, подобно рыцарю из Ламанчи, выступают против зла с открытым забралом, с копьем наперевес, невзирая на то, что в безумные

времена это смертельно опасно. Они будут до конца защищать обреченное дело, доказывая рьяным фанатикам, что нельзя уничтожать людей за их происхождение, ибо все люди равны перед Господом. Жаль только, что таких праведников – считанные единицы во все времена.

Траян Попович понимал, что у него почти нет шансов на успех, но он не уклонился от борьбы и, что самое удивительное, одержал победу, не имея ни общественной поддержки, ни рычагов влияния. Правда, он обладал особым даром убеждения, и те, кто имели с ним дело, неизбежно попадали под его обаяние.

Вскоре после назначения Поповича мэром губернатор региона генерал Калотеску приказал ему создать в Черновцах гетто. Попович отказался, заявив, что не допустит, чтобы часть вверенного ему населения была помещена за колючую проволоку.

Но вот пришел приказ Антонеску о депортации черновицких евреев в лагеря Транснистрии. На этот раз мнения мэра никто не спрашивал. Депортация набирала темпы. Необходимо было спешить, чтобы остановить уже запущенную машину смерти. Попович сумел этого добиться, но высокой ценой. Здоровье его было подорвано, и он умер вскоре после окончания войны, успев написать записки о пережитом – «Исповедь»¹.

* * *

Как в старинных храмах, где двери всегда были открыты для всех страждущих и обездоленных, где они черпали надежду, дающую мужество жить, где еще признавали их право на хлеб, черновицкая мэрия по моему приказу принимала все просьбы и обращения евреев.

В правительственной прессе, контролируемой министерством пропаганды, меня называли «жидовствующим мэром», а черновицких евреев именовали «народом Траяна».

Я же руководствовался не только этическими соображениями, но и надеждой на то, что среди этого урагана страстей мне удастся создать нечто вроде морального оплота для порядочных людей, который в будущем станет доказательством того, что далеко не все румыны были проводниками зла.

Понятно, что моя моральная позиция не способствовала налаживанию гармоничных отношений с губернатором края генералом Колотеску. Характер его обязанностей был таков, что он далеко не всегда мог руководствоваться этическими соображениями. Однажды, когда я в очередной раз просил его приструнить хотя бы немного энтузиазм военных властей, он резко оборвал меня. Я вспылил и заявил, что готов подать в отставку немедленно. Наступило тяжелое молчание. Я был напряжен, как струна, и ко всему готов. Наконец губернатор, не глядя на меня, произнес:

¹ Насколько мне известно, полностью записки Траяна Поповича на русский язык не переводились. Воссоздавая события, я пользовался фрагментами его «Исповеди» в переводе Сергея Воронцова. (В. Ф.)

– Повремените с отставкой, господин Попович. Я ценю вашу работу. Если вы покинете меня, то я останусь совсем один среди фанатично настроенных людей. Думаю, что никто не сможет заменить вас.

– Я остаюсь, господин губернатор, – сказал я. – Но лишь потому, что не могу бросить тех, для кого являюсь единственной надеждой.

Губернатор молча наклонил голову.

Мне показалось, что он отныне с большим пониманием станет относиться к моей позиции, и я ушел спокойный.

Но вот 10 октября меня вызвали на чрезвычайное совещание к губернатору. В кабинете находились также генерал Топор и полковник генерального штаба Петреску. Нас было четверо. Я помню каждую деталь той невероятно драматической сцены, словно все это было вчера. Губернатор заявил, что решение о депортации всех черновицких евреев уже принято самим маршалом, и возражать бесполезно.

Мне показалось, что мое сердце превратилось в камень.

– Господин губернатор, – с трудом произнес я. – До чего мы дошли!

– Что я могу сделать? – ответил Колотеску. – Это приказ маршала, и вы видите здесь представителей генерального штаба, которым поручено проследить за его выполнением.

Я взял слово и стал говорить. Я обратил внимание губернатора на то, что он персонально будет нести ответственность перед историей за все, что произойдет. Я говорил об ущербе для нашей репутации на международной арене, о проблемах, с которыми столкнется Румыния на мирных конференциях. Я не жалел красок, чтобы охарактеризовать преступную аморальность готовящихся мер. Говорил о культуре и человечности, о варварстве и жестокости, о преступлениях и позоре. Повернувшись к губернатору, я сказал, глядя ему в глаза:

– Господин губернатор, французская революция, которая дала человечеству права и свободы, забрала 11800 жертв, а вы находитесь в шаге от того, чтобы отправить на смерть 50 тысяч людей.

Указав на генерала Топора и полковника Петреску, я произнес:

– Эти господа выйдут сухими из воды после того, что совершат. А вы как губернатор ответите за все лично. Ведь у вас не будет даже письменного распоряжения маршала, чтобы на него сослаться. Но у вас есть еще время. Поговорите с маршалом и попросите его отложить эти драконовские меры хотя бы до весны.

Меня слушали в тяжелом молчании. Все сидели неподвижно, как статуи. Наконец губернатор заговорил, но я не почувствовал уверенности в его голосе:

– Господин Попович, признаюсь, что испытываю те же опасения, что и вы. Тем не менее эти господа прибыли сюда для надзора за выполнением приказа. Я должен думать также и об этом.

Тут встал полковник Петреску и обратился ко мне:

– Господин мэр, – произнес он с иронической усмешкой, – кто будет писать историю – еврейские негодяи? Я приехал, чтобы выколоть из огорода сорняки, а вы хотите мне воспрепятствовать?

– Господин полковник, – резко ответил я, – уж позвольте мне самому полоть свой огород. А историю будут писать не евреи. Она не принадлежит им. Ее будут писать историки всего мира.

– Я обдумую ситуацию, – устало сказал губернатор и отпустил нас жестом руки.

Я вернулся в ратушу, где в моем кабинете уже находились руководители еврейской общины. Никогда не забуду, как они на меня смотрели. Они ждали чуда, благой вести. А что я мог сказать им? Уже полным ходом шла подготовка к загрузке евреев в специальные вагоны...

Медлить было нельзя, и я отправился в Бухарест.

В приемной маршала меня встретил молодой секретарь с жуликоватыми глазами.

– Садитесь, господин мэр, – указал он на кресло. – Кондуктор примет вас через десять минут.

Когда я вошел в кабинет Антонеску, он что-то писал.

– Подожди, Траян, я сейчас кончу, – произнес маршал, не поднимая головы.

Против этого нечего было возразить, и я молча ждал. Наконец он отложил ручку и сурово посмотрел на меня.

– Давно не виделись, – сказал он, – но ты совсем не изменился. Все воюешь с ветряными мельницами? Я ведь помню, что томик Сервантеса всегда был с тобой. И не надоело тебе?

– Не надоело, господин маршал.

– Я читал твою докладную. Ты просишь прекратить депортацию евреев из Черновиц по экономическим соображениям. Не слишком ли многого ты хочешь?

– Весь неконструктивный еврейский элемент уже выдворен из Черновиц, – сказал я. – Евреи, которые еще остались, обладают профессиями, жизненно необходимыми для благополучия города. Ассенизаторы, например. Без них город потонет в дерьме.

– Да уж, без ассенизаторов все мы потонем в дерьме, – усмехнулся маршал.

Он встал и прошелся по кабинету. Я тоже встал.

– Ну что ж, Траян, – сказал он после затянувшейся паузы, – поскольку возможность получения тобой взятки от евреев приходится исключить, я выполняю твою просьбу. И знаешь почему?

– Потому что это справедливо.

– Потому что Румынии нужны не только такие ассенизаторы, как я, но и такие чертовы идеалисты, как ты.

Маршал Антонеску разрешил оставить в Черновцах двадцать тысяч евреев, которые благополучно дожили до конца войны. Те из них, которые еще живы, хранят благодарную память о своем спасителе.

Осталось сказать несколько слов о судьбе Антонеску.

24 марта 1944 года советские войска вступили на территорию Румынии. Германо-румынские дивизии, сконцентрированные на ясси-кишиневском направлении, были разгромлены. В Румынии началось антифашистское восстание. 23 августа 1944 года кондуктор был вы-

зван во дворец и арестован по приказу короля Михая, а уже на следующий день Румыния подписала перемирие с Советским Союзом и объявила войну нацистской Германии. Антонеску был выдан советскому командованию и отправлен в СССР, а после войны передан румынскому коммунистическому правительству.

Бывший диктатор был приговорен румынским судом к смертной казни и расстрелян 1 июня 1946 года. На суде он заявил, что ни о чем не жалеет, и попросил только, чтобы его расстреливали солдаты, а не жандармы. В этой милости ему было отказано.

Он сам командовал своим расстрелом. Его последние слова были: «Канальи, пли!»

* * *

Почти все спасенные Траяном Поповичем евреи эмигрировали после войны в подмандатную Палестину, где вскоре должно было возникнуть еврейское государство. Но «свято место пусто не бывает», и еврейское население города не только не исчезло, но и значительно увеличилось уже к 1948 году.

В Черновцах евреи чувствовали себя почему-то более защищенными, чем в любом другом уголке сталинской державы, что, конечно, было иллюзией, но они устремились в этот маленький Эдем со всех концов разоренной страны.

Здесь функционировали шесть синагог и с аншлагами шли спектакли еврейского театра имени Шолом-Алейхема. Здесь исправно работала пекарня, снабжавшая евреев мацой к празднику Песах. Здесь находилось еврейское кладбище изумительной красоты, которое не тронули ни немцы, ни румыны, потому что мэр Попович объявил его историческим памятником.

Такая идиллия не могла продолжаться долго, ибо образ жизни, который вели в Черновцах евреи, власти постепенно стали расценивать как идеологическую диверсию.

Когда в последние годы жизни Сталина развернулась бешеная антисемитская кампания, неподготовленные к ней черновицкие евреи вдруг с ужасом увидели себя на краю пропасти. Позакрывали синагоги, разогнали еврейский театр, запретили выпечку мацы и обрезание. Даже еврейское кладбище и то отобрали.

А потом грянуло дело врачей – «убийц в белых халатах». Тут уж стало ясно, к чему все идет. Евреям оставалось надеяться лишь на чудо, что и произошло, когда до апокалипсиса оставался всего один шаг...

В первые послевоенные годы лишь немногие осмеливались держать дома радиоприемники. Это считалось опасным. Владельца могли заподозрить в том, что он слушает по ночам «враждебные голоса». В каждой квартире была, однако, радиоточка, очень похожая на «телескрин», описанный Оруэллом в романе «1984». Ее, правда, можно было выключать.

13 января 1953 года, рано утром, диктор зачитал железным голосом сообщение ТАСС, обнародованное в тот же день в газетах. Ко

всему привыкшие советские люди не особенно впечатлились, узнав, что органы госбезопасности разоблачили группу врачей-убийц, агентов иностранных разведок и американской еврейской организации «Джойнт», «скрывавшей свою преступную деятельность под маской благотворительности». Ведь славные органы постоянно кого-то разоблачали.

Как былинные богатыри, рубили они головы антисоветской гидре, но те почему-то вновь отрастали со сказочной быстротой.

В сообщении ТАСС назывались всего десять имен. Зато каких! Почти все обвиняемые являлись светилами медицинской науки, пользовались международной известностью, возглавляли кафедры, были консультантами лечебного управления Кремля. Сообщалось, что «эти изверги» получали от «Джойнта», а также от ЦРУ и других иностранных разведок «директивы об истреблении руководящих кадров СССР». Убийцы в белых халатах неправильным лечением уже отправили на тот свет товарищей Жданова и Щербакова.

Подавляющее большинство арестованных принадлежали к «вредной национальности». Было ясно, что примкнувшие к ним профессора Егоров и Виноградов продались «Джойнту» за иудины деньги.

Делу врачей предшествовало убийство в Минске великого еврейского актера Михоэlsa и арест членов Еврейского антифашистского комитета, впоследствии расстрелянных.

Помню, мама спросила отчима:

– А как Михоэls попал ночью во время снегопада на глухую минскую улицу, где его задавил грузовик?

– Лучше нам с тобой этого не знать, – ответил отчим.

Дело ЕАК не вызвало, как рассчитывал Сталин, всенародного возмущения против «малого злокозненного народа». Он понял, что нужна широкомасштабная и более тщательно подготовленная антиеврейская кампания.

По сигналу сверху развернулась травля «космополитов». Предполагалось, что когда общественная атмосфера будет в достаточной степени накалена, евреев, спасая от «народного гнева», депортируют в места отдаленные.

А потом... Что должно было произойти потом?

* * *

Что я мог понимать тогда, в мои неполные двенадцать лет? В нашей семье не говорили на острые темы. И мать, и отчим знали, как это опасно. Поэтому я долго верил, что мы живем в лучшей стране на земле. Иногда я с умилением думал о том, какое это счастье, что родился в СССР, а не в Америке, где изнуренный капиталистической эксплуатацией народ мучается, как в аду.

Мне пришлось самому выбираться из паутины лжи и лицемерия.

Тяжкий жребий достался людям моего поколения, пережившим сразу несколько эпох: смерть тирана, превратившего в апофеоз зла целое государство, крушение мерзейшей из идеологий, возвращение к человеческому образу жизни из сатанинского царства.

На смену одному злу пришло другое, правда, в неизмеримо меньших масштабах. Жрецов кровавой идеологии сменили воры в законе. Но, как писал Бродский, «ворюга мне милей, чем кровопийца».

Лишь много лет спустя я понял, что мать с отчимом не пытались раскрыть мне глаза на сущность режима не из трусости. Они не хотели омрачать моего детства душевным разладом, надеясь, что я когда-нибудь сам разберусь в реалиях жизни, что и произошло, хоть и не сразу.

Прозрение же мое началось с дела врачей.

13 января мама вернулась из поликлиники раньше обычного. Она была очень печальной и выглядела так, словно ее кто-то обидел.

Вечером я услышал обрывки ее разговора с отчимом.

– Что теперь будет? – спросила мама.

– Не знаю, – ответил отчим, – нам остается только ждать и надеяться.

– На что надеяться?

– Не знаю, – опять произнес отчим и после короткого молчания добавил неожиданно сильным голосом: – Боже мой, как это ужасно – жить в стране, из которой невозможно уехать.

Моя мама, человек спокойный и уравновешенный, отличалась врожденной живостью ума и скрытностью характера. У нее была восхитительная улыбка, впрочем, редко освещавшая ее лицо. Я хорошо помню ее тихий выразительный голос и медленные, но точные движения. Казалось, ничто не может вывести ее из состояния душевного равновесия. Но я чувствовал, что есть в ее жизни какая-то тайна, которую мне не дано разгадать. Не исключено, что с гибелью моего отца умерла также какая-то часть ее души. Она, несомненно, любила меня, и все-таки чем-то я ее раздражал. Возможно, напоминал то, о чем она хотела бы забыть.

Моим воспитанием она не занималась и ни разу не позволила проникнуть в свой внутренний мир. Впрочем, она никому этого не позволяла. Даже отчиму, которого по-своему ценила.

Мама была человеком одаренным. В школе – круглая отличница. Московский медицинский институт закончила блестяще. Стала прекрасным врачом. Пациенты ее обожали. Но в те зловещие дни она буквально заставляла себя ходить в поликлинику. Многие врачи известной национальности опасались тогда появляться на работе, а пациенты боялись у них лечиться.

В нашем дворе в небольшом полуподвальном помещении жила прачка Нюрка с сыном Зюнькой, который был старше меня на три года. Он считался хулиганом, потому что любил драться. Родители поколоченных им детей жаловались на него матери. Нюрка порола его нещадно. Но он никогда не обижал слабых, а мне так даже покровительствовал в дворовых разборках за то, что я, читавший запоем, рассказывал ему о похождениях великого сыщика Шерлока Холмса. Зюнька читать не любил.

Был он отчаянный враль. Причем врал он не ради какой-либо мелкой выгоды, а для форсу. Однажды похвастался дворовым ребятам, что спал с женщиной. Он якобы помог ей донести до дома тяжелую кошелку, та пригласила его в квартиру – ну и всякое такое. Это в четырнадцать-то лет!

– Кончай заливать, – смеялись ребята.

Он выходил из себя, кричал иступленно:

– Не верите? Не верите, да? Гадом буду! Век свободы не видать! – Успокоившись, махал рукой: – Ну и черт с вами!

И тут же сочинял новую небылицу.

Нюрка и Зюнька были мамиными пациентами.

Нюрка с отеками, похожими на бревна ногами передвигалась с трудом. Лицо у нее было кирпичного цвета от чрезмерных возлияний. И зимой, и летом она ходила в чулках и в калошах. Казалось, что эта женщина не способна на какие-либо положительные эмоции.

В один из тех дней, когда радиоточка верещала особенно злобно о врачах-убийцах, она вдруг пришла к нам и принесла капустный пирог.

– Вот, Римма Григорьевна, – сказала она, смущаясь, – для вас испекла.

Они сели пить чай, и я, торопившийся во двор по своим делам, услышал, как Нюрка говорит маме:

– Басурманин, он и есть басурманин.

Прошло немало времени, прежде чем я догадался, кого она имела в виду.

Ну а Зюнька где-то через полгода, когда худшее было уже позади, принес нам тетрадный листок со словами песни, которую услышал на рынке. Он записал для нас ее куплеты. Песня была длинная. Из нее следовало, что люди, еще недавно готовые растерзать «убийц в белых халатах», охотно поверили в их невиновность. Время всеобщего ликования и повального безумия подходило к концу.

Вот что сохранилось в моей сдавшей с годами памяти:

*Дорогой товарищ Коган,
Знаменитый врач,
Ты взволнован и растроган,
Но теперь не плачь.
Зря трепал свои ты нервы,
Кандидат наук.
Из-за суки, из-за стервы,
Лидки Тимашук!
Слух прошел во всем народе –
Все это мур!
Пребывайте на свободе,
Наши доктора!*

Но это было потом. А тогда атмосфера в городе становилась все тревожнее, и наступил день, когда мою маму чуть было не убил в поликлинике контуженный фронтовик.

Началось с того, что к маме на прием явилась женщина с круглым, как блин, лицом, с худой золотушной девочкой лет пяти. Выяснив, что ребенок болен ангиной, мама стала выписывать рецепт.

– Нам ваш рецепт не нужен, – заявила пациентка, уколов маму враждебным взглядом, – знаем, какие лекарства вы выписываете. Я хочу, чтобы мою дочку положили в больницу. Пусть там ее лечат.

– С этим заболеванием в больницу не кладут, – с трудом сдерживаясь, сказала мама. – Если же я как врач вас не устраиваю, то обратитесь к другому врачу.

– Все вы одним миром мазаны, – пробормотала женщина и, схватив ребенка, выбежала из кабинета.

Через час в него ворвался ее муж, тщедушный человек со впалой грудью и безумными глазами.

– Я тебе карачун сделаю, жидовская зараза, – выкрикнул он и поднял над головой стул.

К счастью, в кабинете в это время была медсестра, каким-то чудом успевшая его оттолкнуть. Сразу вбежали люди.

Его скрутили, он бился, как в припадке падучей, хрипел:

– Гады! Гады!..

Мама слегла после этого случая и три дня не ходила на работу.

А через неделю этот человек пришел к нам домой. Был он в старой шинели, в галифе и в начищенных до блеска сапогах. Глаза у него были спокойными и печальными.

Увидев его, мама побледнела, а он торопливо сказал:

– Повиниться пришел. Ради Бога простите меня, доктор.

Мама его не выгнала.

Когда он снял шинель, на его груди сверкнули ордена и медали. Этот человек прошел всю войну. Был дважды ранен и тяжело контужен.

Сидя в гостиной на самом краешке стула, он говорил медленно, как бы с усилием:

– Понимаете, доктор, моя дура явилась домой и рассказала, что жидовка отказалась положить нашу дочь в больницу без взятки. Я же после контузии стал очень нервным. Тут еще дело врачей плешь проело. Ну, я и вспылил. Какое счастье, что беды не случилось. Бог милывал... А потом навел справки и узнал, что вы и врач хороший, и человек хороший. Никто о вас слова дурного не сказал. Узнал и про то, что ваш первый муж погиб на фронте. Ну вот... Простите, доктор. По дурусти это все... Снимите камень с души...

– Вам необходимо нервы лечить, – сказала мама.

Расстались они чуть ли не друзьями.

* * *

Гете говорил, что с высоты разума мир представляется сумасшедшим домом. А мы жили в стране, где сумасшествие считалось нормой, а нормальность воспринималась как безумие.

Сталин умер вечером пятого марта. Многие ликовали, а многие с ужасом спрашивали: «Что теперь будет?»

6 марта утром мы с мамой пошли на базар.

– Что теперь будет? – спросил я.

– Весна, – сказала мама, – смотри, деревья уже в цвету.

– Я не об этом.

– А я об этом, – улыбнулась мама.